

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И НАКАЗАНИЯ» И «ПИСЬМА О „ДОН КАРЛОСЕ”»
Ф. ШИЛЛЕРА

Теме «Достоевский и Шиллер» посвящено немало специальных исследований.¹ Но спектр вопросов, сходящихся в этом пункте, столь широк, что проблему нельзя считать хоть сколько-нибудь исчерпанной. Не только идеологически — даже фактологически. Так, до сих пор не поставлен в связь с творчеством писателя цикл статей Шиллера «Письма о „Дон Карлосе”». А между тем Достоевскому они были не просто известны. Планируя вместе с братом Михаилом в начале 40-х гг. издание Шиллера, он из всех теоретических работ поэта выбрал для него только «Письма о Карлосе и Наивн(ости)» (28₁, 99). Вторая из упоминаемых здесь статей — «О наивной и сентиментальной поэзии». Показательно, однако, что в эпистолярной скорописи «Письма о „Дон Карлосе”» поглотили ее, выдвинувшись на первый план.

Предпочтение такого рода можно объяснить прежде всего отношением к произведению, которому посвящены «Письма». Как и многие русские юноши 30-х гг., Достоевский воспринял трагедию Шиллера почти как факт собственной биографии.² Из переписки братьев Достоевских явствует, что идея перевода «Дон Карлоса» принадлежит Федору Михайловичу. Размышляя над судьбой издания (дела не только душевного, но и «торгового»), молодой литератор решил: именно «Дон Карлос» станет залогом успеха «русского Шиллера» у русской публики. Отсюда — заготовленная им издательская «хитрость». Достоевский предполагал напечатать перевод в одном из журналов, объявив в том же номере «об издании всего Шиллера». «Итак, спешите с „Дон Карло-

¹ См.: Вильмонт Н. Н. Достоевский и Шиллер. М., 1984; Фридендер Г. М. Достоевский и мировая литература. Л., 1979; Реизов Б. Г. К истории замысла «Братьев Карамазовых» // Реизов Б. Г. Из истории европейских литератур. Л., 1970; Лысенкова Е. И. Значение шиллеровских отражений в «Братьях Карамазовых» // Достоевский и мировая культура: Альманах № 2. СПб., 1995; Čyževskij D. Schiller und die «Bruder Karamazov» // Leitschrift für slavische philologie. 1929 Bd 6, N 1/2 S. 1—42, Simons G. D. The nature of suffering in Schiller and Dostoevski // Comparative Literature. 1967. Vol. 19, N 2. P. 166—173.

² Рассказ о дружбе с Шидловским (письмо М. М. Достоевскому от 1 января 1840 г.) сливается у Достоевского с выражением восторженной любви к Шиллеру: «Читая с ним (Шидловским — И. А.) Шиллера, я поверял над ним и благородного, пламенного Дон Карлоса, и маркиза Позу, и Мортимера» (28₁, 69). Примерно так же воспринимал «Дон Карлоса» Герцен в пору юношеских отношений с Огаревым. Более позднее высказывание Достоевского о Шиллере: «Мы воспитались на нем, он нам родной и во многом отразился на нашем развитии» (19, 17) — обобщает биографический опыт образованных людей его поколения.

сом”, — убеждает он брата, — непременно спешите; это и денег даст и пустит в ход наше издание» (28, 90).

Сказанного достаточно, чтобы сам факт внимания Достоевского к «Письмам о „Дон Карлосе“» не выглядел случайным. Смысл ситуации, однако, гораздо более сложен. Дело в том, что и для Шиллера названная работа — произведение особого рода. Она содержит не только комментарий к уже созданному, но и своеобразное его «пересоздание». Отделенная от «драматической поэмы» лишь годовым промежутком, статья эта тем не менее предлагает значительную ее переакцентировку.

Думается, это переосмысление не осталось незамеченным Достоевским — особенно в период, предшествующий возникновению замысла «Преступления и наказания».³

В 1864 г. в журнале «Эпоха» был напечатан перевод лекции Куно Фишера «Самопризнания Шиллера». Уже в наше время, комментируя этот факт, автор статьи «Шиллер в русской критике 50—70-х гг.» строго осудил немецкого ученого за реакционное «искажение» Шиллера. «Особенно важно подчеркнуть, — пишет С. Т. Терехов, — попытку Фишера исказить образ маркиза Позы. Герой-гуманист Поза, оказывается, скрывает в душе гордость и тщеславие. Эта мысль была очень близка Достоевскому в 60-е гг.»⁴

Замечание о близости последней мысли Достоевскому 60-х гг. можно было бы считать находкой, предваряющей нашу работу, если бы не случившийся здесь «конфуз»: тезис, в котором литературовед видит дискредитацию «героя-гуманиста», принадлежит не Фишеру, а самому Шиллеру. Он являет собой один из компонентов нравственно-философского комплекса «Писем о „Дон Карлосе“» и в этом своем качестве свободен от той прямолинейной жесткости, которая придана ему в тенденциозном пересказе. Само же наличие такого комплекса было, как нам кажется, главным стимулом, побудившим поэта вернуться к уже обнародованной вещи.

Последнее не противоречит факту, на который указывают авторы примечаний в семитомном собрании сочинений Шиллера: «Поводом к написанию статьи послужили многочисленные критические замечания в адрес трагедии, появившиеся в немецкой печати после опубликования „Дон Карлоса“ в июне 1787 г.»⁵

Одно из этих замечаний приобретает особое значение в свете нашей темы.

В упрек Позе, свидетельствует Шиллер, ставили то, что он, «имея столь высокое представление о свободе, приемом распоряжается с деспотическим своеволием» (VI, 584). Автор не отрицает подмеченного его оппонентами противоречия. Более того, по его мысли, оно принципиально. Здесь — опознавательный знак людей определенного типа.

³ Н. Н. Вильмонт пронизательно заметил, что к Шиллеру восходит «нравственная проблематика „Преступления и наказания“» (*Вильмонт Н. Н. Достоевский и Шиллер*. С. 180). Но сопоставляет он роман по преимуществу с «Разбойниками»

⁴ Шиллер. Статьи и материалы. М., 1966. С. 143.

⁵ Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. М., 1955—1957. Т. 6. С. 781 В дальнейшем ссылки на произведение Шиллера по этому изданию — в тексте (том — римской, страница — арабской цифрой).

Маркиз Поза представлен в трагедии как человек великий: «один могучий, один свободный дух во всем столетье» (II, 256). Но, как сказано в статье, «у Карлоса были причины пожалеть о том, что он (...) выбрал в друзья великого человека» (VI, 586). У людей такого масштаба, убежден Шиллер, дружба не может быть главным содержанием жизни. Мысли маркиза заняты не судьбой одного, а участью миллионов. Еще в годы ученичества юношей соединил «восторженный замысел создать блаженнейшее состояние, какое только достижимо для человечества» (VI, 579). Перед лицом этого замысла Карлос Позы — «лишь орудие высшей цели, а дружба к нему — лишь средство удовлетворить другую потребность» (VI, 577). И эта душевная иерархия закономерна. «Истинное величие духа, — читаем в статье, — часто ведет к нарушению чужой свободы не меньше, чем эгоизм и властолюбие, ибо оно действует ради дела, а не ради отдельной личности. Именно потому, что оно неизменно выступает, имея в виду целое, более мелкие интересы личности слишком легко теряются в этой перспективе» (VI, 586).

В «Письмах...» автор почти обвиняет того, кто в «драматической поэме» подан как идеальный герой. Ради осуществления своей великой мечты, сказано здесь, маркиз мог бы отказаться от принца; «были, вероятно, минуты, когда он спрашивал себя, не стоит ли прямо пожертвовать другом» (VI, 575).

Отметим это предположительное «вероятно». Автору, разумеется, лучше, чем всем остальным, известна душевная «подноготная» его персонажей. Позволю себе, однако, вступить за Позу даже перед лицом его создателя. Материал для несогласия с Шиллером, автором статьи, дает текст его же трагедии. Там мысль об измене другу ради торжества идеала — не реальность, а только тень. Она пробирается в сознание Карлоса вместе с неопровержимыми доказательствами «предательства» Позы. И в этих обстоятельствах принц не осуждает друга: его оправдывает, считает Карлос, величие стоящей перед ним задачи — цели, которую может осуществить всесильный король Филипп. В порыве великодушия принц даже советует Позе «купить» доверие короля ценой его тайны (и его жизни).

Однако для самого Позы жертва другом как средство достижения всечеловеческого идеала — вещь невозможная. Свидетельство тому — факт, показательно не упомянутый в статье. По ходу действия пьесы, в один из самых острых его моментов, Поза отказывается и от несравненно меньшей «платы» за гармонию: щадит жизнь грешницы — принцессы Эболи. Хотя в этом случае выбор, казалось бы, предрешен:

Одно из двух — Испании судьба
Иль жизнь ничтожной женщины.

(II, 206. Пер. Ю. В. Левика)

Но перед нами не нетерпеливый бунтарь Карл Моор, а тот, кто называет себя «гражданином грядущих поколений». Поза находит «другое средство»: отдает ради спасения Карлоса собственную жизнь.

Мотивы этого самопожертвования оспаривает король:

И кому принес он
Такую жертву, — сыну моему?
Мальчишке? Быть не может! Я не верю!
Ужели Поза мог пойти на смерть
За мальчика! Ужели сердце Позы
Заполнил бы скудный пламень дружбы!
О нет, за человечество, за мир,
За счастье всех грядущих поколений
То сердце билось.

И далее:

Он в жертву человечеству — кумиру
Своей мечты — принес меня, так пусть
Заплатит человечество по счету!
Начну с его же куклы.

Где инфант?

(II, 257—258)

В статье автор указывает на этот монолог Филиппа как на ключ к пониманию взаимоотношений героев. В трагедии, однако, эти слова не несут в себе *единственной* истины. Не менее ярко звучит там речь Карлоса, славящего дружеский подвиг погибшего:

Да, сир, мы были братья. Благородней
Родства по крови было наше братство.
Была любовью жизнь его. Любвью
Была его возвышенная смерть.

.....
Вы милостью своей его дарили —
Он умер за меня. Ему вы тщились
Любовь свою и дружбу навязать,
Но вашим гордым скипетром играл он,
Отверг его — и умер за меня.

(II, 243—244)

В этом голосе — бóльшее, чем у короля, напряжение горестной страсти, а следовательно, и не меньшая сила непосредственного воздействия. «Сердцеведец» Филипп противопоставляет дружбу и служение человечеству. Юноша Карлос сливает их воедино. Думается, что Шиллер — в ипостаси поэта (а не теоретика) — ближе к последнему. Поза — «гражданин мира», умирая ради спасения друга, верит: именно инфанту суждено осуществить «мечту о новом, лучшем государстве, Божественном создании нашей дружбы» (II, 215).

Так преодолевается возникшее было противоречие между преданностью идеалу и любовью к конкретной личности. Но преодолевается на пространстве трагедии. В статье, написанной по ее поводу, оно, напротив того, развернуто, обнажено. В этом и заключается, на наш взгляд, трудноуловимая, но несомненная авторская переакцентировка вещи.

Так, «Письма о „Дон Карлосе“» имеют для Шиллера значение автономное. Их концепция сопрягается с драматической поэмой не без «сопротивления материала». Зато кажется будто специально созданной для глубинного понимания совсем другого героя, человека иного века — Родиона Раскольникова.

Колесания, которые герой Достоевского переживает перед своим «идеологическим» преступлением, заставляют вспомнить шиллеровское:

(На языке романа: «За одну жизнь — тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения» — 6, 54).

Раскольников решает дилемму иначе, чем шиллеровский «гражданин мира», — топором. Но — при всей несоизмеримости жизненных историй петербургского студента и испанского гранда — корень проблемы один. Несомненно и психологическое сходство ее носителей. Герой Достоевского сполна наделен тем свойством, которое, опираясь на дух и стилистику «Писем о „Дон Карлосе“», стоило бы назвать «великодушным деспотизмом». Люди, близкие Раскольникову (и Разумихин, и Дуня), — не раз называют его «деспотом». Непосредственный повод к этому — требование «прогнать» Лужина. Уже при первой встрече с родными Родион почти приказывает сестре: «...я этого брака не желаю, а потому ты и должна, завтра же, при первом слове, Лужину отказать, чтоб и духу его не пахло» (6, 152). «И как он говорил с тобою, Дуня!» — пугается привыкшая уважать дочь Пульхерия Александровна. Манера речи Раскольникова в данном случае действительно будто специально демонстрирует деспотизм. Дело, однако, не во внешней манере, существеннее внутренний стиль отношения к близкому человеку. Решение предписывается ему сверху — словно говорящий, в отличие от собеседника, имеет прямой доступ к высшей истине.

И все же в истоке своем деспотическое требование Раскольникова великодушно в точном смысле слова. Не принимая жертвы сестры, он намерен на себе одном «протащить» всю тяжесть греха и ответственности («Пусть я подлец, а ты не должна...» — 6, 152). Не случайно Разумихин, говоря о странном характере своего друга, выделяет две полярные его стороны: «угрюм, мрачен, надменен и горд». Но одновременно: «великодушен и добр» (6, 165).

Бытовая сфера дает лишь одно из проявлений этой коренной двойственности — проявление наглядное, но отнюдь не главное. По точному наблюдению современного исследователя, у Раскольникова «заведомо деспотично» общее отношение к жизни,⁶ деспотичен сам строй его мысли. А предел этой мысли — идея преступления не лишена, как это ни парадоксально, своеобразного великодушия. Его концентрирует «формула» одного из мотивов замысла — «убить для других». Правда, в современном литературоведении душевная подлинность этого мотива иногда ставится под сомнение. В ней видится лишь «самообман» человека, рвущегося к власти.⁷ Думается, однако, что концепция такого рода упрощает сложный рисунок внутренней жизни героя. Более того, по отношению к Раскольникову она человечески несправедлива. Сочувствие чужой беде для него органично, как вскрик от полученного удара. «Злые» мысли приходят потом — как нечто вторичное. (Об этой душевной динамике мы еще будем говорить.) Прямая реакция Раскольникова на встречу с чужим несчастьем — почти импульсивный жест не-

⁶ Лебедев Ю. Преступление и наказание Родиона Раскольникова // Достоевский Ф. Преступление и наказание. Ижевск, 1983. С. 487—488.

⁷ Карякин Ю. Достоевский и канун XXI века. М., 1989. С. 68—75.

посредственной помощи. (Так, после первого посещения Мармеладовых он, уходя, «успел просунуть руку в карман, загреб сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с разменянного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко» — 6, 24—25.)

В способности сострадать — подлинный талант героя Достоевского. И столь же подлинны растущие из этого нелегкого дара альтруистические побуждения. Задуманное убийство — именно потому, что вся душа Раскольникова противится ему — приобретает в его глазах оттенок самопожертвования. Более явно, чем в беловом тексте, эта мысль выражена в черновых редакциях романа. В частности там, под заголовком «Капитальное», значится:

«Соне. Возлюби! Да разве я не люблю, коль такой ужас решился взять на себя? Что чужая-то кровь, а не своя? Да разве б не отдал я всю мою кровь? если б надо?

Он задумался.

— Перед Богом, меня видящим, и перед моей совестью, здесь сам с собой говоря, говорю: я бы отдал!» (7, 195).

Вряд ли возможно в точности «угадать», почему эти слова остались за пределами окончательного текста. Может быть, ради того, чтобы не пошатнулось равновесие противоположных мотивов преступления, двух полярных формул — «убить для других» и «убить для себя». Равновесие, предельно значимое: мысль Раскольникова, начинаясь «великодушием», неизбежно сползает в «деспотизм». (Соответственно вслед за первым импульсивным желанием помочь приходит досада и брезгливое отстранение от происходящего.)

По Достоевскому, здесь нет личного «просчета» мыслителя. Впоследствии о подобной же недостаточности своей «системы» заявит персонаж, с Раскольниковым совсем несходный. «Я запутался в собственных данных, — признается Шигалев, — и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» (10, 311).

В «Бесах» основные для этого высказывания понятия — «свобода», «деспотизм» — трактуются несколько иначе, чем в «Преступлении и наказании»: не как свойства личности, а как общественно-философские категории. Но динамика их соотношения та же. Таков, по убеждению писателя, общий ход развития «придуманного» идеала — теории, деспотической по отношению к живой жизни.

Размышления, родственные этому сквозному для Достоевского мотиву, также находим в «Письмах о „Дон Карлосе“».

Причина гибели друзей, объясняет автор, не только в том, что Поза «слишком много смотрел вверх на свой идеал добродетели и слишком мало вниз на своего друга» (VI, 386). Она — в особом качестве идеала, одушевлявшего маркиза.

Исследуя этот вопрос, Шиллер показательным обращается к жизненному опыту своих читателей. Драматург отходит от непосредственного анализа трагедии. Ему нужна в данном случае не эстетика, прибежище избранных, а этика — область, касающаяся всех. «И здесь, мне кажется, — размышляет автор, — я схожусь с замечательным наблюдением

из мира морали, которое не может быть совершенно неизвестным всякому, кто хоть в малой степени удосужился осмотреться вокруг себя или присмотреться к движению собственных чувств. Заключается оно в следующем: нравственные побуждения, которые внушены подлежащим воплощению идеалом, а не заложены, как природные свойства, в сердце человека, именно потому, что внедрены в него искусственно, действуют не всегда благотворно, но очень часто, по переходу, весьма естественному для человека, выливаются в пагубные следствия. В своей моральной деятельности человек должен руководствоваться практическими законами, а не искусственными порождениями теоретического разума» (VI, 587).

Вывод, венчающий рассуждение, явно соседствует с этикой Канта, считавшего опорой нравственности «практический», а не «чистый» разум. Его продолжение через век — художественные раздумья автора «Преступления и наказания». Шиллер выступает, таким образом, как звено связи между Достоевским и Кантом.⁸

Проблема этого тройственного соотношения диктует необходимость несколько отвлечься от «Писем о „Дон Карлосе“». Обратившись к ней, мы оказываемся на идеологическом пространстве двух других широких вопросов — полемики Шиллера с Кантом и художественного противостояния Достоевского «шиллеровщине». Обе проблемы достаточно исследованы, но нам придется коснуться их, чтобы избежать односторонности в трактовке нашей темы.

Известно, что Шиллер, переживший сильнейшее воздействие философии Канта, не принимал некоторых положений его этической системы. Ему казалось излишне «жестким» понятие «категорического императива», предполагающее безусловное противостояние долга и склонности. Центром полемики с Кантом стала для Шиллера статья «О грации и достоинстве». Нет уверенности в том, что она была известна Достоевскому. Но в более мягкой форме те же мысли излагаются в упоминаемой им статье «О наивной и сентиментальной поэзии». Для нас имеет значение одно из содержащихся в ней положений. «Всякая моральная низость, — сказано здесь, — действительная человеческая природа, но, будем надеяться, не истинная человеческая природа: ибо последняя не может не быть благородной» (VI, 450).

Заданное человеческой природе благородство вполне реализуется, по Шиллеру, в «прекрасной душе». В такой душе «гармонически сочетаются чувственность и разум, долг и склонности» (VI, 149). «Единственная заслуга прекрасной души в том, — читаем в статье «О грации и достоинстве», — что она существует. С легкостью, словно действуя только по инстинкту, исполняет она тягчайшие обязанности, возложенные на человеческое существо, и самая героическая жертва, исторгаемая ею у природной склонности, кажется добровольным следствием этой самой склонности» (Там же).

Представления эти (находившие опору в общем облике шиллеровских героев) в русской общественной и художественной мысли 40—60-х гг. были истолкованы иронически. Возникло понятие «прекрасно-

⁸ См.: *Вильмонт Н. Н.* Достоевский и Шиллер. С 139—142.

душие» — синоним некоей намеренной близорукости, добровольного «незамечания» глубины человеческих пороков.

Критика «прекраснодушия» приобретала особенную актуальность в обстановке войны с романтизмом; наиболее активно включались в нее те, у кого за плечами был собственный опыт восторженного идеализма. Белинский, в частности, истолковал в духе такой критики финал романа «Бедные люди»: «Дело тут простое: нашлись добродушные чудачки, которые полагают, что любить весь мир есть необычайная приятность и обязанность для каждого человека. Они ничего и понять не могут, когда колесо жизни со всеми ее порядками, наехав на них, дробит им молча члены и кости». Слова эти зафиксированы П. В. Анненковым в качестве непосредственной реакции критика на восхитившее его творение «начинающего таланта». (Он застал Белинского за чтением — «с большой тетрадь в руках и со всеми признаками волнения на лице».)⁹

Нет оснований в данном случае подозревать мемуариста в неточности; показательно, однако, что этот вариант оценки никак не отразился в печатных отзывах Белинского. Причина, на наш взгляд, в том, что сохраненная память Анненкова трактовка идет скорее от душевного опыта критика, чем от художественного мира «Бедных людей». Шиллер не лежит в поле сознания персонажей первого романа Достоевского. Зато в «Преступлении и наказании» герой горько поминает «прекраснодушие». Узнав из письма матери, что готовится брак сестры с человеком «деловым и рациональным», но, «кажется, добрым», Раскольников упрекает близких в некоей «принципиальной» непроницательности: «И так-то вот всегда у этих шиллеровских прекрасных душ бывает: до последнего момента рядят человека в павлинье перья, до последнего момента на добро, а не на худо надеются; и хоть предчувствуют оборот медали, но ни за что себе заранее настоящего слова не выговоряют; коробит их от одного помышления; обеими руками от правды отмахиваются, до тех самых пор, пока разукрашенный человек им собственно-ручно нос не налепит» (6, 37).

Близорукое «прекраснодушие», по Достоевскому, — одна из «издержек» «шиллеровского» строя души. Но в целом этот строй не сводится к издержкам. Свидригайлов, например, насмехаясь над «шиллеровщиной» самого Раскольникова, имеет в виду нечто родственное «прекраснодушью», но не идентичное ему. Речь идет о том качестве, которое в статье «О наивной и сентиментальной поэзии» названо изначальным «благородством» человеческой природы, о тех высоких критериях («вопросы человека и гражданина»), которых Раскольников не теряет и после преступления.

Еще одну грань «шиллеризма» в романе обнаруживают слова проницательнейшего «реалиста» — Порфирия Петровича. Он убеждает Раскольникова, что для него еще не потеряны великие жизненные возможности: «Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем» (6, 352). И тут же смущенно обрывает себя: «Вы чего опять улыбаетесь: что я такой Шиллер» (Там же). Порфирий тем самым признает за собой избыток «идеальности», но от сказанного ни

⁹ Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 258.

в коей мере не отказывается: в «идеальности» отсвечивает высшая, внебытовая истина.¹⁰

В понимании Достоевского Шиллер вообще не сводится к одной ипостаси (какой бы важной в данный конкретный момент она ни казалась).¹¹ Художник лучше остальных чувствует, насколько другой художник не совпадает с представлениями, рождающимися из «среднестатистического» восприятия его произведений. Автора «Разбойников» вряд ли можно считать целиком ответственным за тот комплекс «прекраснодушия», который впоследствии будет черпать энергию в его имени. Более того, до какой-то степени Шиллер сам такому умонастроению противостоял. Один из самых ярких моментов этого противостояния — «Письма о „Дон Карлосе“». Статья дополняет драматическую поэму по принципу противоположности: в ней вскрывается «изнанка» восторженного идеализма.

«Всякий искусственный моральный идеал, — сказано здесь, — всегда есть идея ограниченная, подобно всем другим идеям, точкой зрения индивида, которому принадлежит; следовательно, она не может быть применена в той всеобщности, в которой ее обыкновенно применяет человек. Уже одно это должно сделать ее крайне опасным орудием в его руках, но еще опаснее то, что она слишком быстро вступает в союз с известными страстями, в большей или меньшей степени свойственными всякому человеческому сердцу. Я имею в виду властолюбие, самомнение или высокомерие, сразу овладевающие ею, неразрывно с нею сливающимися» (VI, 587).

Близость этих размышлений к облику героя «Преступления и наказания», человека, в котором будто «два характера поочередно сменяются», который в реакции своих постоянно повторяет путь от величайшего сочувствия к раздражительной злобе, «скользит» от альтруистического мотива преступления к сугубо эгоистическому, — очевидна.

По Шиллеру, от воздействия темных потенций природы не защищены даже лучшие из людей. «Поэтому я остановился, — объясняет он, — на вполне альтруистическом характере, возвысившемся над всякими своекорыстными вожделениями, я сообщил ему величайшее уважение к чужим правам, я даже поставил целью его стремлений утверждение всеобщей свободы и полагаю, что отнюдь не разошелся с жизненным опытом, когда заставил его на пути ко всему этому впасть в деспотизм. В мой план входило, чтобы он запутался в сетях, расставленных всякому, кто идет по одному с ним пути...» (VI, 588).

Итог статьи звучит как прямое «остережение» будущему Раскольникову. Противоречия, жертвой которых стали герои трагедии, должны, по мысли автора, подтвердить опыт, «ценность которого невозможно преувеличить, а именно, что в моральном поведении опасно отдаляться от естественного практического чувства ради общих абстракций, что гораздо надежнее для человека доверяться внушениям своего сердца

¹⁰ См. по этому вопросу: *Лысенкова Е. И.* «Шиллеровское» в образе Раскольникова // Достоевский и современность: Тез. выступлений на «Старорусских чтениях». Новгород, 1988. С. 72—74

¹¹ О неоднозначности отношений Достоевского к Шиллеру см.: *Фридлиндер Г. М.* Достоевский и мировая литература. С. 242.

или присущему ему индивидуальному чувству правды или неправды, чем опасному руководству отвлеченных рассудочных идей, которые он себе искусственно создал, ибо ничто неестественное не ведет к добру» (Там же).

Из сказанного напрашивается вывод об особой роли в жизни человечества «наивных душ» — тех, кто наделен врожденным нравственным инстинктом. («Это человек-то вошь!» — изумится Соня Мармеладова. «Убивать? Убивать-то право имеете?» — 6, 320, 322). Возможно, именно эта мысль стала для молодого Достоевского звеном, связавшим две разные работы Шиллера в единое: «Письма о Карлосе и Наивн(ости)».

Не буду настаивать на этом предположении: вряд ли здесь возможны сколько-нибудь точные обоснования. Важнее другое: вполне доказуемая (а порой и не требующая доказательств) близость идеологического комплекса «Писем о „Дон Карлосе“» к нравственно-философскому ядру романа Достоевского. Эта общность настолько органична, что с ней плохо сочетается термин «заимствование». По-видимому, в этом случае стоит говорить о неслучайно ином феномене. Он не имеет пока терминологического обозначения; на языке жизненной практики ему соответствует метафорическое — «узнать свое в чужом». Такое «узнавание» в творческом процессе не совпадает, как правило, с первоначальным зерном замысла, не являет собой первого импульса к созданию вещи. Оно приходит позже как встреча с духовным «подобием». Встреча, подтверждающая, что идущий не одинок, что он движется в верном направлении.¹² Думается, именно эту роль играла для Достоевского в период работы над «Преступлением и наказанием» память (сознательная либо бессознательная) о статье Шиллера, известной ему с юношеских лет.

Включение «Писем о „Дон Карлосе“» в шиллеровский «багаж» Достоевского качественно меняет состав литературной родословной Раскольниковова. До сих пор она состояла по преимуществу из героев байронического склада; теперь в нее входит такой рыцарь гуманизма, как маркиз Поза. Однако специфика этого расширения (через переосмысливающий трагедию авторский комментарий) напоминает о «многосоставности» мысли Достоевского, утверждавшего особое родство Шиллера русской душе. Это — родство не только в сфере высокого идеализма (порой оборачивающегося «прекраснодушием»), но и в неприятии «наполеонизма» «избранных».

¹² Психологический механизм этого явления зафиксирован в одном из эпизодов «Преступления и наказания». Раскольников в пору, когда «идея» только зарождалась в его сознании, услышал близкие ей соображения из уст незнакомого студента. Автор выводит эту сцену из хронологического ряда, помещая ее в самом конце цепи эпизодов, предваряющих преступление. Инверсия подчеркивает самостоятельность духовных поисков героя; услышанное для него — не начало «идеи», а «ответ», который дает на нее жизнь, почти мистическое ее подтверждение.